

«Я сомневаюсь во всем»

К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

Писатель, с судьбой, неотделимой от истории журнала «Юность».

Владимир Войнович – раздражитель. И не только для тех, для кого он лютый и рьяный идейный антипод. Но и для множества «своих», которым от него хорошенько доставалось. «Все друзья Войновича в конце концов оказываются бывшими», – подметила Алла Латынина.

Войнович часто бывал в состоянии заводной раздраженности. И в нашем общении он хоть и улыбался, но бойцовским оскалом, будто готовый чуть что вцепиться зубами, как герой его знаменитого рассказа «Шапка».

Быть может, подранок?

Крепкий летчик-провинциал, джек-лондоновский персонаж, покоровший советскую литературу, он вошел в клинч с системой. Отсутствие работы, отключенный телефон, попытка отобрать квартиру, нападения на улице, драки, даже, как он доказывал, отравление и, наконец, выдворение за рубеж – все ожесточило и закалило.

Однако же при любых разногласиях со мной он легко согласился на встречу, был гостеприимен, после интервью угостил ужином, мы выпили водки, а бело-рыжий песик ползал то по хозяину, то по гостю и премило лизался.

Любопытно, что, будучи убежденным западником, он признавался в сочувствии бомбимым сербам (между прочим, буквально своим братушкам) или в том, что собирался вернуться из эмиграции в страну «социализма с человеческим лицом», который предпочел бы тому, что получилось.

Многое из рассказанного о себе рассыпано по его книгам, в том числе мемуарным, но так почти у каждого писателя. Важнее – интонация и подробности судьбы, выбранные им самим в диалоге.

Вопреки упертости или, наоборот, благодаря, он, по-моему, старался следовать принципу, одноименному его ранней повести: «Хочу быть честным».

Поскольку и советский, и антисоветский Войнович всегда ужасно хотел быть честным, его совесть на каждом шагу спотыкалась о какую-нибудь нечестность



и отзывалась смехом. Смех Войновича то болезненный, нервный, оборонительный, то бодрый, энергичный, расчищающий унылые завалы для сюжета и мысли.

У Войновича можно обнаружить непрерывную издевку над «простыми людьми», над святым и светлым, а можно – неизменную жалость к людям и даже неистребимый социдеализм, когда мастерские зарисовки и наблюдения подхватывает волна публицистического задора.

Что ни говори, столько у него меткого, остроумного, живого, от чего, читая и перечитывая, будет смеяться читатель! А значит, эта проза останется. И упомянутая «Шапка», и роман про Чонкина, и повесть «Путем взаимной переписки», и антиутопия «Москва 2042», несомненно, никуда уже не денутся из литературы.

Все-таки еще с дебютной песни о космонавтах Войнович – это жизнеутверждающая стихия. Простодушный романтизм, переходящий в поэтику анекдота. Побивать обыденность необычайным. Возвести тусклый абсурд в цветастую степень.

Войновича немало обвиняли в надругательстве над идеалами и ветеранами, но если в 60-е он спокойно отнес «Чонкина» автору «Теркина», главному поэту военного поколения, и получил строгую, но дружелюбную критику, то, кажется, в наши дни шум осуждения «очернителя» мог быть гораздо громче.

Признаться, я не фанат этого романа, но герой-то вполне архетипичен. В сущности, он фольклорный простофиля, Иванушка-дурачок, Емеля, сказочный солдат, который в огне не горит и в воде не тонет, и кашу из топора сварит...

И кстати – веселое перемигивание книг: у Гашека в «Швейке» упоминается фамилия Войнович.

Фамилия, в которой смесь воинственности и карнавала, возможно, определившая его характер, жизнь, литературу.

Писатель опрокидывает стопку, вместо закуси утираясь кулаком, и смотрит мне прямо в глаза, дерзко и иронично.

Над изрезанным морщинами лбом воздушная шапка седины, словно облако, где затерялся отчаянный летчик.

Вот он, наш разговор, случившийся незадолго до его смерти.

– *Владимир Николаевич, спасибо за готовность к разговору.*

– Мне приятно ваше внимание. Я просто хочу сказать, что мы придерживаемся разных взглядов по разным вопросам, иногда по очень важным вопросам, но это не мешает мне уважительно относиться к каждому человеку, который свою точку зрения вынашивает всерьез и в самом деле так думает. А не говорит что-то, потому что полагается так говорить. Я вам доверяю.

– *А что вас радует в жизни?*

– Погода, когда она хорошая.

– *Солнечно сегодня, а вчера была слякоть.*

– Вчерашняя погода радует, а сегодняшняя нет. Меня радуют какие-то мелочи жизни. Меня радует моя жена, которая присутствует при нашем разговоре. Меня радует то, что жизнь продолжается.

– *Вы родились в таджикском Сталинабаде, нынешнем Душанбе. А когда вы последний раз были в Таджикистане?*

– Сравнительно недавно, после многолетнего отсутствия... Я жил сначала в Сталинабаде первые четыре года, вторые четыре года в Ленинабаде и потом уехал оттуда в 1941 году и до 2004-го там не был. Меня туда пригласили, потому что мой отец был основателем и первым редактором ленинабадской газеты «Рабочий Ходжента», и было семидесятилетие этой газеты, и после Ходжента я побывал и в Душанбе.

– *А вы рано себя помните?*

– Я рано себя помню, у меня, между прочим, есть одна фотография: мне три с небольшим года, и я сижу с журналом «Пионер». Я очень хорошо помню, как меня снимали – на балконе в редакции газеты «Коммунист Таджикистана», где отец мой тоже работал. И я помню, как фотограф говорит мне: «Сейчас вылетит птичка». Я смотрел, смотрел, так и не увидел. Очень жалел, очень долго жалел, что птичку не увидел. И потом уже сколько лет прошло... не будем даже считать... А я опять сфотографировался на этом же балконе.

– *Ваша правильная фамилия Войнович. Будто бы Твардовский вас так называл.*

– Ну да, Твардовский меня так называл, потому что мой отец боролся за такое произношение, с ударением на первом слоге. Фамилия сербского происхождения, и в Сербии, и в Черногории вот так произносят: Войнович. Мой отец боролся, я не боролся, потому что знал, что это бесполезно. Все равно я сам себя называю Войнович.

– *У вас было счастливое детство?*

– Нет. Это было тяжелое детство.

– *Вы таким его чувствовали?*

– Нет, я его не чувствовал таким. Тяжести не чувствовал. Но я же был лишен тех радостей, которые имели другие: кого-то водят учиться фигурному катанию, или в шахматный кружок, или на скрипке играть. А я пас телят, понимаете? Это работа недетская совсем. Телят пасти, между прочим, гораздо труднее, чем коров.

Мне платили три с половиной трудодня в одиннадцать лет за эту работу. От зари до зари надо было за ними все время бегать, так же, как и они бегают в разные стороны. Коровы кучно держатся, а телята разбегаются, особенно по лесу.

– *Родители повлияли на ваше увлечение литературой?*

– Они влияли сначала отрицательно. Они оба были книгочеи. Мама моя, хоть и была учительницей математики, читала больше нас всех до самой смерти

запоем, и поэтому уважение к книге у нас было. Отец мой журналист. Когда мне было три с половиной года, он был арестован, просидел пять лет в лагере. Потом участвовал в войне, причем сразу. Он только в мае вышел из лагеря, а в июне его уже забрали на фронт, где он был ранен. Он писал прозу и стихи, но их у него не печатали. А я просто смотрел и думал: нет, это не то, чем я должен заниматься.

Я не хотел этим заниматься и не занимался. И только в армии... У меня срок был длинный: четыре года, и вот когда уже пошел второй год, я в свои двадцать с лишним лет стал думать: а чем же я буду заниматься? Может быть, литература?

Ну еще были такие привходящие обстоятельства... До армии у меня было семь классов и ремесленное училище, и я умел делать какую-то недорогую мебель, но мне не нравилось это занятие. И я думал: чем же я буду заниматься после армии? Я хотел найти что-нибудь интеллектуальное, но для почти любого интеллектуального занятия требуют высшее образование, а мне до него было очень далеко. Значит, я приду из армии, пойду работать опять, буду учиться в восьмом классе, девятом, десятом, еще шесть лет в институте, и к пенсионному возрасту стану каким-нибудь начинающим инженером. Я начал думать: нет ли такого интеллектуального занятия, которое не требует формального образования? И решил, что такое занятие есть – это литература.

– Вы окончили ремесленное училище, работали на алюминиевом заводе, на стройке, притом что родители у вас были из интеллигенции.

– У меня родители были интеллигентные, но мой отец образование тоже не получил. Он был литературно одаренный, начитанный человек и никогда не делал малейших ошибок, но тогда, особенно на заре советской власти, это было возможно – без образования стать журналистом и кем угодно.

– За что его посадили?

– Они находились на сборах военных, трое журналистов, и один из них сказал, что, по его мнению, коммунизм в отдельно взятой стране построить нельзя, а можно только после мировой революции, а мой отец с ним согласился, а третий написал донос.

– Чистый троцкизм.

– Да. Почти два года длилось следствие, отца обвиняли: вы допустили контрреволюционное троцкистское высказывание. Хотя он даже и не высказывался. Короче говоря, его посадили, но ему повезло, потому что арестовали в 1936-м. Самый страшный год 37-й он просидел в тюрьме, а осудили его только в январе 38-го. Пришел Берия, и начался процесс, который назывался «Разберивание». Отца реабилитировали, освободили, его пригласил к себе секретарь горкома Ленинабада: «Ну все, Николай, знаешь, ошибки бывают, на партию не обижайся, на партию обижаться нельзя, возвращайся в партию», а мой отец сказал: «В вашу партию больше никогда в жизни».

И в семье договорились, что мы с ним уедем на Украину, где жила моя тетя – его сестра со своей семьей, а мать, окончив педагогический институт в Ленинабаде, тоже приедет к нам. Мы туда приехали, и тут же началась война. Отца сразу на второй или третий день взяли на фронт, потом немцы подошли, и мы с родней эвакуировались на Северный Кавказ, дальше в Куйбышев, в Самарскую область... И я начал работать колхозником – пас телят, коров, на лошади ездил. Мы переехали в Запорожье и жили очень бедно. Я торговал папиросами: ездил, покупал папиросы «Беломорканал» по 4 руб. пачка, а продавал по 5 или враспынную, и кричал: «Покупайте!..» Так вот какой-то человек шел, увидел меня, он был из-под Ленинграда, высланный, услышал русскую речь без акцента, без хеканья. Купил пять папирос и одну дал мне закурить, так я стал курить, хотя

пробовал, честно говоря, намного раньше: еще в шесть лет дедушка давал мне папиросу. С этим репрессированным я и водки выпил впервые. Да и сейчас могу. Хотите, попробуем вместе?

– *Давайте.*

– Но я не курю. Бросил и уже двадцать восемь лет не курю.

– *Вы были в молодости в аэроклубе, прыгали с парашютом, а сравнительно недавно снова оказались за штурвалом.*

– Да, я не только прыгал с парашютом, я еще был планеристом. Я мечтал быть летчиком. Я служил в летном училище под Харьковом, откуда многие космонавты вышли, например Леонов. К нам приехали врачи, которых обучали летному делу, а мы не поняли для чего, а оказывается, для космоса. Врач Егоров, был такой космонавт, тоже там учился. А когда я уже оканчивал училище, командир брал меня с собой, и мы летали вместе на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15. И он сказал: «Знаешь что, если ты хочешь летать, давай я напишу. У меня есть знакомый заместитель командующего авиацией, мы вместе с тобой поедem в Киев, поговорим». И это так соблазнительно было. Но нет, я уже стихи писал...

– *А сейчас бы полетели или прыгнули бы?*

– Я бы прыгнул! Я даже нашел такую возможность, но, пожалуй, не смогу, ноги болят. Сейчас бы, если бы не ноги, с удовольствием прыгнул. Да, немножко дух захватывает, когда прыгаешь, и когда с вышки в воду – тоже. А на самолете я летал за штурвалом не так давно, в восемьдесят лет.

– *Вы дважды пытались поступить в Литинститут, и безуспешно?*

– Первый раз я поступал, когда демобилизовался, приехал в Керчь, поступил там в вечернюю школу, подал заявление в Литинститут, прислал стихи, какие у меня были. Меня не приняли в 56-м, потому что стихи были слабенькие, а второй раз в 57-м я прошел творческий конкурс, стихи были вполне на уровне, но государственный антисемитизм в скрытой форме еще существовал, и, как мне сказали, были отложены какие-то дела с подозрительными фамилиями, моя фамилия на «ич» показалась подозрительной.

Там был такой поэт Коваленков, который до этого меня приглашал на свои семинары, и я приходил к нему как вольный слушатель.

– *Поэт-песенник, прошедший, кстати, фронт и лагерь.*

– Вот именно он меня, как говорится, зарубил. Я ему позвонил и говорю: «Александр Александрович, здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте, рад вас слышать». Я говорю: «Сейчас вы не будете рады, я звоню, чтобы сказать вам, что вы подлец». И я поступил в областной педагогический...

– *А уже вскоре Хрущев напевал с трибуны Мавзолея песню Войновича, так полюбившуюся космонавтам.*

*Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом:
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут...*

– Тут совпали некоторые вещи. Я приехал в Москву, и поскольку некуда было деваться, поступил плотником на стройку и писал стихи. И ходил по редакциям со стихами, их почти не печатали. В серьезных изданиях – нет, и все. В сентябре 1960-го я очень бедствовал и просто вдруг поступил в редакцию сатиры и юмора всесоюзного радио, и там написал эту песню, но в это же время, тоже

в сентябре 60-го, отнес свою первую повесть в журнал «Новый мир». Принес туда с улицы, никто меня не знал. «Мама, мы здесь живем».

– *У меня есть эта книга. Изданная еще тогда. «Мы здесь живем». С грузовиками, которые несутся по дороге.*

– Маленькая, желтенькая?

– Да.

– Это уже раритет. Она стоила 15 копеек, и она меня выручала, когда я начал ездить на автомобиле. На первом «Запорожце» я сначала ездил без прав, а когда милиционеры останавливали, я говорил, что права забыл, но открывал книгу и показывал: тут, видишь, написано: «Ехал я на своем самосвале...» Они в это верили, я им дарил эту книжку за 15 копеек и ехал дальше.

– *Значит, ваш старт в литературе сразу с двух позиций?*

– Да, с двух позиций. Если бы я песен не писал, меня все равно в конце концов приняли бы в Союз писателей. Но одно другому помогло.

– *Быстро приняли?*

– В 62-м году. Это было такой специальный прием, потому что была оттепель и было такое указание ЦК КПСС – омоложение литературы, в искусство должны прийти новые молодые люди. И поэтому нас принимали скопом. Меня приняли в одной группе с Беллой Ахмадулиной. Принимали Аксенова, Владимова... Гладили самый молодой и самый первый.

– *Вы написали более сорока песен. «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло», и так далее...*

– Про космонавтов вообще первая моя песня, которую я написал. А потом просто работал и нужны были песенки пустяковые почти к каждой передаче, меня уже ценили на вес золота, потому что никто так быстро не мог сочинить... Допустим, идет рассказ про постового милиционера на улице, ему нужна какая-то песенка, и я пишу:

*Сотрудником ОРУДа я три года состою,
я палочкой орудую,
на улице стою.*

ОРУД – это отдел по регулированию уличного движения. Нужна была песня про собаку – пишу про собаку. Были еще более-менее известные песни, например «Футбольный мяч».

Но работа на радио продолжалась недолго. Когда я только начал ходить со стихами по редакциям, в «Литературной газете» тогдашний заведующий отделом поэзии Валентин Берестов сказал: «Это стихи прозаика». Мне это так запало, что я решил: как только напечатаю первую прозу, брошу писать стихи. Едва повесть вышла в «Новом мире», я уволился с радио, хотя композиторы и многие обрывали мне телефон.

А сейчас снова пишу стихи. Редко, но пишу.

– *В 1972-м в серии «Пламенные революционеры» у вас вышла биография народницы Веры Фигнер, книга не только о ней, там и выпуклая фигура Желябова. Фигнер, причастная к убийству Александра II, дожила почти до девяноста, до 1942-го, когда и умерла своей смертью в Москве. А вы переосмысливаете эту тему? Или эта была какая-то дань романтизму юности?*

– Это дань даже не романтизму, а осознанной необходимости. В молодости и в литературной молодости я вел себя не очень стандартно для советского литератора. Сначала меня охотно печатали (этот период был короткий), а потом неохотно. А в это время в издательстве «Политиздат» была создана серия «Пламенные революционеры», как я понимаю, специально для таких людей, немножко вольнодумных. Чтобы отвлечь их от описания современности. Там

был замечательный редактор Владимир Новохатко. Думаю, что это была затея с каким-то тайным смыслом, он работал со сложными авторами. Печатались Трифонов, Окуджава, Аксенов, Гладилин. Всех нас постарались завлечь, а мне не хотелось, потому что я уже писал «Чонкина», но я понимал, что перспектив напечатать то, что я пишу, в ближайшее время не будет. Нам предложили список революционеров, начиная с декабристов, там были большевики всякие. Я выбрал Веру Фигнер, потому что подумал, что мне этот период действительно интересен. Он мне и сейчас интересен, и много иллюзий возникает, когда его изучаешь и думаешь о нем. Много общего я находил с тогдашним советским временем. Я уже был знаком с какими-то диссидентами... Меня интересовала революционная молодежь, история первых выступлений против царизма.

– Они совершают террор и приближают 1917 год и немилую вам советскую реальность, при этом руководствуясь самыми лучшими побуждениями, – у вас есть по-прежнему положительные ответы или теперь уже вопросы?

– Нет, вопросы вызывает, и мы с вами можем даже тут коснуться какой-то более острой темы. Но тогда это у меня была и правда вещь апологетическая. Это была советская литература, я работал в этих рамках, но написал там в конце: «Она дожила до девяноста лет и увидела дело рук своих», с намеком.

Какие у меня размышления современные? Действительно, чистые люди шли в революцию. Они выезжали за границу, там изучали медицину, или юриспруденцию, или еще что, погружались в Маркса и решали бороться за свободу, и возвращались домой. Не бежали за свободой куда-нибудь за границу, как теперь многие, а возвращались к себе, чтобы бороться за свободу в своей стране. Но как власть развращает, так и революция развращает людей, потому что они сначала идут с чистыми помыслами, готовы жертвовать собой, а когда начинают жертвовать и видят, что дело не сдвигается, переходят к другим методам борьбы и жертвуют уже не только собой, но кем-то еще. Например, Степан Халтурин был такой. Говорил Желябову: «Надо взрывчатку как можно больше».

– Взорвал Зимний дворец.

– Погибло множество людей...

– «Москва 2042» воспринимается как сатира на Солженицына, с которым вы немало бодались.

– Солженицын сказал, что я его жизнь на Западе описал «от копыт до перышек». Но я же знал ее только понаслышке. Когда я писал «Москву», то показывал некоторым знакомым, которые у него бывали. И мне говорили: «Хочешь, я тебе расскажу, как он там живет?» Я говорю: «Ни в кое случае! Я не хочу знать. Я пишу вымышленного героя». И для меня это был не спор просто с Солженицыным, а спор, выходящий за рамки спора человека с человеком.

– Я знаю, что вы в «Новом мире» видели «Матренин двор» в рукописи, где была прищиплена фотокарточка той самой Матрены.

– Да-да. Я это видел. Я считаю, что это был очерк, а не рассказ.

– Хочу спросить о вашей прозе, о которой не часто спрашивают. «Расстояние в полкилометра», рассказ 61-го года, где вы выступаете своего рода деревенщиком. Там у вас герой по фамилии Очкин, который прошел сталинские лагеря, но при этом заслуженно, и ему было и неплохо в тех лагерях, и, наконец-то, он, отрицательный персонаж, помирает. Эта проза была советской? Когда вы стали антисоветским?

– Как так получилось, что я был таким вроде примерным советским писателем, а потом стал диссидентом? А у меня не было никакой такой перемены позиции, резкого перехода – был путь развития...

В четырнадцать лет я спросил у бабушки: «Что ты думаешь про Сталина?», она сказала: «Я думаю, что он бандит», и бабушка больше, чем отец, рассказывала

про его лагерь. И вообще смолоду я относился к советской власти... ну как вам сказать... не то что с желанием протеста... ну, иронически. Не очень почтительно.

Но потом я написал первую повесть «Мы здесь живем». Это о целинном колхозе.

– *И ведь вы были на целине...*

– Да... И меня приняли в Союз писателей. Я тогда подумал: может быть, я как-то не так смотрел на жизнь, откуда-то снизу. А если объективно, ведь не зря столько людей умных, писателей, пишет положительное о советской власти, советских достижениях, о коммунизме и социализме... И попробовал с другой стороны. Меня устраивало, что такое социалистический реализм официально. Это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии.

Революционного развития я не знал, но правдивое и конкретно-историческое меня устраивало. И я пытался быть таким. Я хотел быть советским писателем. Но не казенным... Меня с самого начала начали шпынять при самых моих наилучших, благонамеренных позициях.

Итак, я напечатал первую свою повесть, там много о колхозе целинном. Все хорошо. Советская пресса была замечательной, в основном хвалебная. Но один критик написал статью «Правда эпохи и мнимая объективность»: «Войнович придерживаться чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть».

Вот я старался изображать жизнь как она есть. И когда я пишу, стараюсь избегать всякой предвзятости и односторонности. Например, я описывал тех же революционеров, сначала там были романтики, потом я увидел, что появилось много циников и прохвостов. Или, допустим, диссидентское движение. Я сначала тоже каких-то людей идеализировал... Ко многим я и сейчас отношусь в высшей степени положительно.

Но я хочу видеть людей объемно, любых людей. Даже если он герой, я смотрю, а где у него другая сторона. А если он подлец, я тоже посмотрю. У меня в книге «Монументальная пропаганда» Аглая Ревкина – такая фанатичка-сталинистка, но я в ней тоже нахожу человеческие черты. А в людях, к которым принято относиться с пиететом, иногда нахожу обратное...

У меня было еще советское одно давнишнее интервью, меня спросили: «Что вы делаете?» Я говорю: «Я продолжаю придерживаться поэтики изображения жизни как она есть».

Иногда в процессе развития я уходил в какую-то фантазмагорию, но не становился другим.

– *Сатира заостряет черты.*

– Да-да-да.

– *А все-таки был же какой-то особый идеализм в советском человеке? Вспомним, например, вашу повесть «Хочу быть честным»: прорабу Самохину на душе неспокойно, потому что он не может сдать бракованное здание, или повесть «Два товарища»: два парня знают и любят стихи, один из них летчик. Отличные ребята! Это же советские люди?*

– Это советские люди.

Вы знаете, советский человек прошел большой путь. Если говорить более широко, марксизм как учение создан в эпоху кризиса человеческого мировоззрения. Люди усомнились в существовании Бога, стала развиваться наука, и они поняли: науке все под силу, значит, Бога нет. Научно можно все исправить, и можно построить справедливый мир. Маркс точно написал, как его можно построить. И создалась в результате идеология, которая охватила умы. Почему свершилась революция? Кроме требований времени – прекратить войну и все такое – коммунистическая теория казалась очень разумной очень многим

людям. И их обвинять нельзя, что они в это верили. Потому что говорилось: надо сделать то-то и то-то, чтобы построить справедливое общество.

Начали строить справедливое общество, но, если грандиозное здание обрушивается, значит, оно было на песке. Естественно, шло разочарование, потому что теория столкнулась с практикой, и вообще, коммунизм – от каждого по способностям, каждому по потребностям – нечто недостижимое. Потребности возрастают у человека, переходят всякую грань... А вот «от каждого по способностям, каждому по труду» – это социалистические идеи. Они в какой-то степени осуществимы.

– Согласитесь, многое на Западе менялось под воздействием примера СССР.

– Конечно. Кроме всего потому, что правящие круги увидели, что происходит. Ведь был действительно дикий капитализм, дети работали по шестнадцать часов... Капиталисты поняли, что надо уступать рабочим, надо как-то делиться своими богатствами, пошли на постепенные уступки профсоюзам.

– Судя по героям ваших первых книг, у многих советских людей была обостренная совесть.

– Вы знаете, это чувство постепенно уходило, потому что советский человек был сильно искалечен. Вот человек вроде моего отца что-то сказал, и его исключают из партии его товарищи, которые знают, что он хороший человек. «Кто за исключение этого врага народа?» И все поднимают руки. Это очень здорово описано в романе Александра Бека «Новое назначение» – человек действует против своей воли. Необходимость участвовать в каких-то решениях и даже карательных действиях вопреки своей совести убивала и саму совесть. Допустим, вашего товарища исключают из членов партии или, как в моем случае, из Союза писателей, и все поднимают руки... А вы, например, говорите: «Я воздержался». Значит, и вас тоже туда же. Люди с обостренной совестью просто гибли.

В конце концов советский человек приспособивался, и в результате приспособления вырос не очень приятный гибрид. Последнее время советской власти я лично не знал таких, которые действительно верили в доктрину. Но я знал людей старшего поколения, дружил с Виктором Некрасовым, и они говорили: «Ну да, я вступал в партию на фронте, там другое дело».

Яркий пример: группа советских евреев выступила против государства Израиль, большинство из них не хотели, но их к этому принудили. Все объясняется бытовыми какими-то вещами: «вот у меня театр», «а мне надо лечить больных», «а мне надо еще что-то там». Но все равно это уже не романтика, это уже не честность и не совесть, это уже что-то другое.

– А вы чувствуете свою принадлежность к шестидесятникам?

– Я отношусь формально к шестидесятникам. Между прочим, шестидесятники – это последний всплеск романтизма. Ведь я советскую власть не любил, но все-таки думал, что в основе ее лежит что-то хорошее, но оно сильно искажено, а вот теперь мы вернемся к хорошему. Когда прошел XX съезд партии в 56-м году, говорили: возвращение к ленинским нормам. Мы все были воодушевлены тем, что люди выходят из лагерей. Стало быть, советская власть теперь будет другая. Она будет человеческая власть. И вот это двигало нами всеми, как бы потом наши судьбы ни разошлись. Вспышка оптимизма стала источником вдохновения, а следующие поколения были задавлены.

Я знал с детства: Сталин – это плохой, а Ленин – хороший, и довольно долго думал, что хороший. Потом уже в Москве стал читать книги, которых я не читал, и какие-то Ленина записки: этого к стенке, этого расстрелять, этого повесить. Я стал думать: «Что такое? А может, это он фигурально пишет? Может уволить с работы?» Стал спрашивать кого-то, мне говорят: «Нет. Вот это он имел в виду».

– С кем вы дружили из старших?

– Я близко дружил с Виктором Некрасовым, с Юрием Домбровским. Да, это были мои близкие друзья, несмотря на очень большую разницу в возрасте. С Владимиром Тендряковым... И с Твардовским я много общался и дружил. Он меня в самом начале моего пути очень одобрил. Рассказ «Расстояние в полкилометра» ему особенно понравился. Он меня позвал к себе, и целый вечер мы с ним сидели, и он меня так захваливал, что у меня уши вяли.

– Выпивали с ним?

– Много раз.

Он был просто очаровательный в личных застольях. Он любил петь песни белорусские... Но говорили и о литературе, и обо всем, но при этом интересно: когда был день рождения Игоря Александровича Саца, моего редактора, его 60-летие, Твардовский, который все время ругал советскую власть, сказал: «Выпьем за нашу советскую власть!» В нем была такая двойственность.

У нас была целая компания, в основном состоявшая из редколлегии «Нового мира»: Твардовский, Дементьев, Лакшин, Кондратович, тот же Сац, ну и я. И была одна женщина с двухкомнатной квартирой, мы туда приходили, каждый с двумя бутылками водки. И начиналось!..

Мне это сейчас кажется странным, я сейчас тоже выпиваю, понемногу, но чтобы пить так – это мне кажется уже диким. Мы приходили и сильно выпивали. Долгий вечер: часов в шесть сходились, за полночь расходились.

– Ну это под закуску?

– Под закуску – да. Вот эта женщина, она готовила закуску. И там велись душевные разговоры такие... И песни были.

– И вы принесли автору «Теркина» своего «Чонкина».

– Я сначала показал Сацу, своему редактору. Он говорит: «Никому не показывай – неси прямо Твардовскому». Я говорю: «Хорошо». И я понес Твардовскому.

Через некоторое время мне звонит его секретарша Софья Ханановна: «Александр Трифонович вас ждет». А у меня была такая оплошность: когда мы только познакомились, он меня спросил: «А как вас по батюшке?» – «Да ничего, меня можно Володей звать». Я увидел, что он нахмурился и говорит: «А кой вам годик уже?» Иронически. Я говорю: «Мне двадцать девять», и мне как-то стало стыдно, что мне так мало лет. Он говорит: «Ну что же, молодость – это недостаток, который быстро проходит». С тех пор, хотя у нас были очень хорошие отношения, он избегал меня называть как-нибудь. Он всех своих сотрудников звал по имени-отчеству. Допустим, Лакшин, на год моложе меня, был Владимир Яковлевич, а меня Володей Твардовский не мог называть и поэтому не называл никак.

И вот я прихожу, и он говорит: «Мой юный друх (он говорил *x*), мой юный друх, то, что вы написали, – это неумно, не остроумно, не талантливо... У вас один вор, другой, председатель, пьяница...» Между прочим, с пьянством «Новый мир» всегда боролся и вычеркивал рассказы о выпивках, хотя все сами были пьяницы. Как говорил Сац, «мы с вами не алкоголики – мы пьяницы». Твардовский вообще был запойный, и другие любили крепко выпить. Вы знаете, я относился к Твардовскому с большим пиететом, но тут он говорит: «И что это за фамилия такая Чонкин? Чонкин – таких фамилий очень много... Бровкин, Травкин (он улыбнулся), Теркин...»

– А вы в армии встретили Чонкина?

– Да, я встретил Чонкина в армии, но предыстория в литературе: в рассказе у меня был герой Очкин, а потом в повести «Мы здесь живем» Тюлькин, а потом появился Чонкин – они чем-то были сходны, развитие одного характера...

Я ему сказал: «Я с вами не согласен». «Ну хорошо, не согласны, давайте дадим почитать Дементьеву». Это был заместитель, такой очень выразительный,

критик, очень образованный человек. Через некоторое время Дементьев позвал меня и говорит: «Вижу, у вас очень большой и серьезный замысел, но я, старый человек, его принять не могу». Я говорю: «Как это понимать?» «Ну вот вы знаете, у меня был такой эпизод в жизни, я когда-то был молодой литератор, плыл на пароходе по Волге, а там была делегация чешских учителей, и когда они узнали, что я тоже литератор, стали спрашивать, знаю ли я чешскую литературу...»

– *А он Гашека назвал?*

– Да, он назвал Гашека. И они так возмутились! Они сказали, что Гашек – это негодяй, эта книга – клевета на чешский народ и все такое. Он говорит: «Я себя сейчас чувствую чешским учителем, но я принять это не могу».

– *А можно сказать, что Чонкин – отчасти Швейк?*

– Конечно, когда я писал, то за этим были не только реальные прообразы, но и какая-то литература, начиная, может быть, от Дон Кихота и Тиля Уленшпигеля, ну и Швейк, и Теркин. Да, это все-таки предшественники.

Но Швейк – это бравый солдат, а Чонкин – герой законопослушный и пассивный. Просто события налезают на него... Я его еще называю «естественный человек в неестественных обстоятельствах». Когда его ставят на какой-то пост, он готов задание исполнить лучшим образом, но ему поступают всякие настолько противоречивые задания, что все их исполнить он не может.

– *Вы любите своего Чонкина?*

– Меня часто спрашивали: чувствую ли я сам себя в какой-то степени Чонкиным? В какой-то степени да.

Мы с ним, надеюсь, разного уровня, но есть что-то такое общечеловеческое. Например, когда английский продюсер Эрик Абрахам хотел ставить фильм, я его спросил: «Почему?» Он говорит: «Потому что это универсальный характер, и у Чонкина такой характер, который может быть и у человека образованного... У него естественные движения души». Это, я думаю, свойственно мне тоже.

– *Вы отнесли рукопись в «Новый мир». Был шанс на публикацию Чонкина в Советском Союзе?*

– Нет, не было. И «Чонкин» был опубликован сначала без моего ведома и разрешения во Франкфурте-на-Майне в журнале «Грани», а уже в 75-м году с моего разрешения в Париже в издательстве YMCA-Press отдельной книгой, и тогда по ВВС было пять больших передач, каждый вечер они передавали отрывки из «Чонкина», и после этого меня вызвали в КГБ. Их задача была меня запугать, чтобы я вообще перестал даже думать о продолжении «Чонкина».

– *А исключение из Союза писателей?*

– Исключение из Союза произошло до этого, в 74-м году. Это было связано с заступничеством за Синявского, Даниэля, Солженицына, Сахарова, Гинзбурга, Галанскова и многих других.

– *Как родители воспринимали такой виток вашей жизни?*

– Мой отец очень боялся за меня. Он питал иллюзии относительно Ленина и, хоть уже не состоял в партии, в душе был вольным коммунистом. Он думал, что общество еще каким-то образом можно исправить, но власть не любил и поэтому в принципе со мной был согласен.

Мама и папа жили в провинции, они так и не поняли до конца, что я себе позволял. Отца моего за совершенные невинные высказывания посадили на пять лет, а я уже вытворял такое, что они не понимали, как это так, они там думали: может, сейчас такие правила игры...

– *А когда вы уехали, они это застали?*

– Мать моя уже умерла, а отец застал. Я его звал с собой, но он сказал, что нет, он не поедет.

– Вы написали целую книгу о том, как во время одной из встреч с сотрудниками органов вас отравили. Это подтолкнуло вас к мысли уезжать?

– Нет, тогда не подтолкнуло, я тогда очень был зол. Вы, наверное, знаете по себе, потому что участвуете в каких-то делах, где рискуете собой, насколько я понимаю.

Бывает такое состояние, когда тебя пугают: ты сначала пугаешься, а потом, если слишком сильно пугают...

– То тебе не страшно.

– Не страшно, а наоборот. Просто чувство гнева и презрение.

– А вас вытолкнули из страны?

– Да. Меня выгоняли, мне намекали всякое, но я не хотел уезжать...

– Были готовы к аресту?

– Был готов. И не уступал из упрямства. В борьбе всегда наращиваешь мускулы. Сначала готов сдаться, постепенно крепнешь.

– Как герой вашей «Шапки».

– Да, как герой моей «Шапки». Тоже, между прочим, характер мой и не мой, но это и я тоже.

А тут я уже устал... Говорю: «Мое терпение подошло к концу, и я готов покинуть Советский Союз, если будут выслушаны мои скромные пожелания».

Я сказал, что вывожу всю библиотеку и свой архив без препятствий и тогда уеду. Я поехал по стране, прощался с близкими.

Я уезжал 21 декабря. Мне было сказано, что я все вывожу, но я, конечно, не поверил и, что мог, отправил через кого-то, а с собой взял одну маленькую рукопись, главу из «Веры Фигнер», которая не вошла в книгу. И уже в Шереметьево стали проверять все полностью, каждую тряпочку, у дочки куклу просветили, и вдруг достают эти бумаги мои из чемодана: «Распишитесь в том, что ваша рукопись конфискована». Я говорю: «Ах, конфискована? Тогда я никуда не еду!» А у меня уже два чемодана поехали в самолет. Меня провожали разные люди, Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, и вот Булат Окуджава крикнул: «Володя, другого шанса не будет!» Я говорю: «Не будет, значит, не будет. Я никуда не еду!» Сотрудники забегали, подбежал какой-то к моей жене: «Что он делает? Он требует от нас невозможного. Нет, мы не отдадим, вы нас не знаете». Она сказала: «Нет, это вы его не знаете». Через некоторое время рукопись отдали, но, когда я прошел контроль и скрылся с глаз долой иностранных корреспондентов и друзей, меня заводит в будку какой-то толстый таможенник с майорскими погонами: личный досмотр. Где-то там дочка рыдает, ей семь лет было. «Что вы хотите?» – «Вытащите все из карманов. Снимите пиджак. Теперь снимите сапоги». Он засунул руку в сапог. «Ну и что ты там ищешь? Золото, бриллианты? А ты поищи там свою совесть. Писателя тебе не стыдно так обыскивать?» – «А я ваши книги не читал!» – «Стыдно, что не читал». Он говорит: «Второй сапог». Я второй сапог взял и уже совсем разозлился, бросил в угол: «Подбери». Он подобрал, опять полез. И я тут совсем разозлился: «Слушай, ну правда, вот не стыдно, ты подумай о себе, ты такой толстый, у тебя, наверное, одышка, ты наклоняешься – инсульт будет. И вообще, если бы меня заставили заниматься вот тем, чем ты занимаешься, я бы лучше застрелился». Тогда он мне говорит: «А теперь...» «Теперь что? Раздеваться? Еще что тебе надо, сволочь?» И он вдруг закричал: «Ничего-ничего» – и убежал. А рядом стоит капитан милиции, в отличие от этого худой, улыбнулся странно и говорит: «А вы надолго уезжаете?» Я говорю: «Ненадолго, я скоро вернусь».

Тогда я говорил, что через пять лет в Советском Союзе начнутся радикальные перемены.

– Вам легко жилось в эмиграции? Впервые на Западе. Германия, Америка, снова Германия...

– Мне было сначала трудно, потому что при том, что я знал, что дело может кончиться моим изгнанием, морально не был к этому готов. Первые три года переживал довольно трудно. Я отличался от эмигрантов, которые приехали навсегда. Я приехал с ощущением, что я на время, и потом мне казалось, что время затягивается. Оно, конечно, затянулось.

– В эмиграции с кем вы общались из писателей?

– Я общался со всеми понемногу, с Бродским, с Довлатовым, с Аксеновым чаще, потому что целый год в Вашингтоне мы общались довольно тесно.

– С Лимоновым?

– С Лимоновым общался. Мы познакомились на совещании писателей третьей волны в 81-м в Лос-Анджелесе, в Австрии виделись, в Белграде встречались, но он там ходил воевать, я не ходил.

– Знаменитая байка у Довлатова. Копировальщик на Бродвее вас спрашивает про страницы: «Ван оф ич?» («Каждую по одной?») А вы жене: «Ирка, ты слышала? Войнович!»

– Дело в том, что, когда Чонкина узнали и напечатали в Америке, хотите верьте, хотите нет, это был бум. Издали, тут же переиздали, потом еще было десять изданий. Это были огромные тиражи, первое издание 20 000, второе издание 200 000. И меня действительно узнавали! Меня первый же таксист узнал, американский, не русский. И я пришел в копировальню, даю листы, человек смотрит и говорит: «Вайнович?» Поскольку моя фамилия с разными ударениями, я говорю: «Yes. I am».

– Была тоска по Родине?

– Была, была, была...

Сейчас, когда уезжаю, мне кажется, я уже мог бы жить где угодно вообще. А тогда я стремился назад и приехал, как только возникла первая возможность, в 89-м году, еще лишенный гражданства.

Я ожидал этих перемен. Поначалу я не думал, что Советский Союз развалится. Думал, что будет что-нибудь вроде Пражской весны, коммунизм с человеческим лицом. Я думал, что возможно будет возвращение и существование нормальное, и можно будет писать и издавать книги, того же «Чонкина».

– Вы верите в высшие силы?

– Я сомневаюсь во всем. Точно могу сказать, что не верю ни в какую религию. Я в бога какого-то верю, во что-то непознанное, даже в какие-то знаки судьбы верю. Потому что я считаю, чтобы мне было много знаков этих дано.

– Какие знаки?

– У меня были не чудесные ситуации, а бытовые. Я работал на стройке, у меня была лестница на плече, и вот лебедка поднимает площадку, на которой две тачки с раствором. Она поднимает, но я знаю, что под грузом находиться нельзя, это везде написано обязательно. Но я думаю: не может быть, чтобы я прошел, и чтобы эта штука упала! Я никогда ни разу не видел, чтобы груз лебедки падал. И я прошел... Сделал один лишний шаг. И это рухнуло сзади меня. И глыба раствора мне прямо вцепилась вот сюда (*показывает на затылок*), и я даже испугаться не успел. Я тут же стал промываться водой. Но понял, что это знак: не ходи под грузом.

Или мистический случай, когда я шел с рукописью в «Новый мир», а тогда метро 5 копеек стоило, и турникет захлопывался, если не бросаешь. Я шел и думал: «Я вот сейчас не брошу. Если он меня пропустит – значит, все будет хорошо». И он меня пропустил.

– Рукопись «Мы здесь живем»?

– Самая первая публикация, для меня она была решающая, я тогда был плотником и бедствовал, нищенствовал. С опубликованием этой вещи у меня жизнь перевернулась.

– *Вы написали злой сатирический вариант гимна «Распался на веки союз нерушимый. Стоит на распутье великая Русь...». Есть ли у вас ощущение, что стране могут предстоять большие потрясения?*

– Я думаю, я даже уверен, что предстоят. Если насчет Бога я сомневаюсь, тут, к сожалению, я уверен, что ей предстоят большие потрясения, и довольно скоро.

– *Знаю, что вашу предыдущую жену Ирину вы увели у друга.*

– Да, у писателя Камила Икрамова. Потом у меня с ним восстановились отношения. Мы общались, когда он был болен, и я был на его похоронах. Но я за свой поступок ответил всей своей жизнью. Я жил с ней сорок лет, и последние пять лет она тяжело болела, и я был все время с ней.

– *А что важно для воспитания детей?*

– Я очень плохой воспитатель, честно говоря. Я для воспитания мягок, я даже собаку не могу воспитать свою.

– *У вас всегда были собаки?*

– Да. В детстве, еще до войны, бездомные собаки были наши общие все. Когда холодно, они приходили к нам, жили у нас в коридоре. У нас были свиньи, которых мама надеялась зарезать, но мы к ним так привыкали, что мы их не могли зарезать, они у нас тоже жили, как собаки.

– *Вы снова пишете стихи.*

– Стихи редко пишу. В основном в дни рождения жены. Каждое 18 августа.

– *Прочитаете что-нибудь?*

– Я прочитаю стихотворение, за которое она меня полюбила. Я его написал вскоре после армейской службы.

*Голову уткнув в мою шинель,
авиационного солдата,
девушка из города Кинель
золотцем звала меня когда-то.*

*Ветер хороводился в трубе,
а она шептала и шептала...
Я и впрямь казался сам себе
слишком благородного металла.*

*Молодость – не вечное добро.
Время стрелки движет неустанно.
Я уже, наверно, серебро,
скоро стану вовсе оловянным.*

*Но, увидев где-то у плетня
девушку, обнявшую солдата,
я припомню то, что и меня
называли золотцем когда-то.*